

КРАСНЫЕ ВОРОТА

МАКСИМОВИЧ ЖЕЛЬКО

ГАЛИНА,

ИНТРИГА В РЕДАКЦИИ



Желько Максимович

Галина, Интрига в редакции

<https://litres.ru/74273008>

SelfPub; 2026

Аннотация

Журналистка Софья Ковалёва, пережившая в детстве нападение вампира и обученная охотнику Ивану Петровичу, расследует серию загадочных исчезновений в районе Красных Ворот. Среди пропавших — четырнадцатилетняя Алиса Ветрова. Расследование приводит Софью к древнему вечному — князю Виктору Оболенскому, который веками контролирует московскую прессу и похищает людей для своих нужд.

В центре истории — Галина, столетняя вампирша, работающая в редакции «Московских вестей». Она десятилетиями стирала память свидетелям и журналистам, но после встречи с Софьей впервые за век делает выбор в пользу человечности. Вместе они планируют проникнуть в особняк князя, освободить Алису и уничтожить его сеть.

Роман переплетает несколько временных линий: ночь похищения Алисы, детство Софьи, обращение Галины в 1907 году в Малом театре и её долгую службу князю. В центре — темы предательства, искупления, цены бессмертия и силы человеческого выбора перед лицом вечного голода.

Желько Максимович

Галина, Интрига

в редакции

Глава 1. Кровь на мокром асфальте

1. Нулевая точка. Красные Ворота. 3:17 ночи.

Москва в этот час — не город. Москва в этот час — жила, перерезанная пополам, и из неё медленно вытекает свет фонарей. Асфальт блестит, как свежая рана. Воздух пахнет мокрым железом, прелыми листьями и чем-то ещё — чем-то, что не имеет названия, но живёт на языке привкусом старой меди и соли.

Девочка стояла на углу. Свет фонаря дробился в её волосах на золотые осколки — так светятся нимбы на старых иконах, когда свечи гаснут, а в окно падает луна. Ей было четырнадцать лет, три месяца и одиннадцать дней. Звали её Алиса Ветрова. Она единственная в классе умела свистеть в два пальца, боялась высоты и донашивала куртку старшего брата, потому что мать считала, что девочке необязательно быть модной, девочке надо быть умной.

В руке она держала телефон. Сяоми с треснувшим экраном — упал в столовой на прошлой неделе, наклейка с котом чуть отошла по углам. Экран погас в 3:12. Навсегда.

Она не знала, что аккумулятор высадил не мороз — Москва в конце октября была ещё теплой, плюс четыре, мокрый снег превращался в воду, не долетев до земли. Аккумулятор высадило присутствие. Тени питаются электричеством так же, как люди — кислородом. Она стояла рядом уже полчаса. Смотрела на девочку. Ждала, когда автобус — который никогда не придёт — появится из-за поворота.

Девочка зевнула. Посмотрела на часы на остановке — электронное табло показывало 3:18 и рейс отменён. Она не поняла, что табло застыло восемь лет назад, ещё до того, как её мать поседела на висках.

Она не видела, как тень отделилась от стены. Тень была старой — старше Москвы, старше колоколов Ивана Великого, старше самой идеи города на семи холмах. Она помнила деревянные стены Кремля при Долгоруком. Помнила пожары 1547 года — стояла на Ивановской площади и смотрела, как Троицкий собор превращается в факел. Помнила, как пахнет человеческая плоть, когда она зажарена заживо, и находила этот запах... уютным.

Тень двигалась не шагами, а перетеканием — словно масло по стеклу, как вода в невесомости, как болезнь по кровеносному руслу. У неё не было силуэта в полном смысле слова — скорее отсутствие силуэта, провал в ткани реальности, дыра, которую глаз дорисовывал до мужской фигуры просто потому, что мозг отказывался принимать пустоту.

— Заблудилась? — спросил голос.

Голос был мягким, как бархат, которым обивают гробы. Совсем не страшный. Тёплый. Почти отеческий. В нём слышалась та особая интонация, которой пьют чай на кухнях в три часа ночи, когда не спится и хочется говорить.

Алиса обернулась.

Мужчина в длинном пальто стоял в трёх шагах от неё. Пальто было тёмно-серым, дорогим, с бархатным воротником, на котором не оседали капли дождя — они стекали, обтекая ткань по касательной, словно боялись прикоснуться. Лицо — обычное. Такие лица забываешь, отвернувшись. Средний возраст, средние черты, ни шрамов, ни родинок, ни морщин. Идеально, пугающе среднее лицо.

Он улыбнулся.

У него не было отражения в луже у ног. Чёрная вода под фонарём отражала только фонарь, только небо, только мокрый асфальт — но не фигуру в пальто. Алиса не заметила. Они никогда не замечают. Человеческий глаз запрограммирован видеть узор, а не отсутствие узора. Мы видим лицо — мы не видим, что лицо не отражается. Мы слышим голос — мы не слышим, что голос не сотрясает воздух, а звучит прямо в черепной коробке, как воспоминание.

— Мне нужно на Савеловскую, — сказала она. Голос дрожал — она замёрзла, хотела домой, хотела в кровать, где пахнет мамиными духами и старым одеялом. Но она старалась быть взрослой. Выпрямила спину. Вздёрнула подбородок.

Отец её ушёл, когда ей было пять. Она привыкла быть взрослой.

— Я провожу, — сказал мужчина. И сделал шаг в сторону. Жест — приглашающий, учтивый, почти рыцарский. После вас, мадемуазель.

Они пошли.

Камеры на углу моргнули и погасли. Не отключились — изображение застыло последним кадром: пустая остановка, мокрый асфальт, свет фонаря. Ни девочки, ни тени в паль-

то. Оператор на пульте в дежурной части зевнёт, скролльнет ленту и ничего не заметит. Потом, через два дня, когда мать поднимет тревогу, запись найдут, посмотрят, пересмотрят, увеличат, проанализируют. Увидят, что камера моргнула в 3:16 и 37 секунд. Увидят, что после моргания на остановке никого нет. Не поймут.

Собака во дворе — старая овчарка по кличке Бакс, жившая в частном секторе за углом, за железным забором с зелёной краской, облупившейся до ржавчины, — завывала, когда они проходили мимо. Выла она не так, как воют на луну. Луна тут ни при чём, луна — это для кинематографа. Бакс завыл так, как воют псы, чувствующие приближение того, что старше их генетической памяти. Он завыл басовито, надсадно, захлёбываясь, и вдруг затих — прижал морду к лапам, зажмурился и задрожал крупной дрожью. Внутри его собачьего сердца, в той тёмной камерке, где живёт инстинкт, щёлкнул рубильник: не рычи. не смотри. притворись мёртвым. может быть, оно пройдёт мимо.

Оно прошло.

2. Редакция Московских вестей. Утро следующего дня.

Редакция пахла кофе, старыми газетами и человеческой усталостью. Этот запах вьелся в стены за двадцать лет —

въелся глубже краски, глубже штукатурки, до самого бетона. Линолеум на полу был протёрт до дыр там, где стулья отъезжали от столов. В углу стоял фикус, который никто не поливал уже три месяца, и он держался из чистого упрямства.

Наталья Сергеевна Ветрова сидела на стуле для посетителей. Стул был старый, дерматиновый, с пружиной, которая норовила ткнуть в ягодицу, если сесть неудобно. Она сидела прямо, как на уроке в школе, — спина прямая, руки на коленях, пальцы сплетены в замок так сильно, что костяшки побелели. Платок в руках она комкала уже час — лёгкий, шёлковый, с рисунком огурцы, подаренный свекровью на день рождения. Она его почти порвала.

Женщине было сорок два, но выглядела она на все пятьдесят. Седина — ранняя, некрасивая, клочьями — пробивалась у висков. Под глазами залегли тени, которые не скрывал никакой тональник. Она не спала двое суток. Она не ела, кажется, тоже — потеряла счёт времени, потеряла счёт еде, потеряла способность чувствовать что-то, кроме липкого ужаса, который поселился под рёбрами и пустил корни.

Напротив неё сидела Софья.

Софья Ковалёва была молода — двадцать шесть, хотя на вид можно было дать и двадцать, и тридцать, в зависимости

от света и выражения лица. У неё были глаза цвета тёмного янтаря — не карие, не золотые, а именно янтарные, с прожилками, как у камня, внутри которого застыла доисторическая смола. В этом свете — жёлтом, больничном, от старой люстры с плафонами-тарелками — они казались почти чёрными. Но в них горело что-то, чего мать Алисы не могла назвать. Не просто внимание. Не просто сочувствие.

Голод.

Нет. Не голод. Узнавание.

За ухом у Софьи торчал карандаш — простой, Конструктор, сточенный почти до резинки, с пожёванным концом, потому что она грызла его, когда думала. На коленях лежал блокнот. Тяжёлый, в твёрдой обложке, с тиснением LEUCHTTURM 1917 — подарок бывшего, с которым они расстались полтора года назад, но блокнот остался, и она его донашивала, потому что хороший блокнот — это хороший блокнот, и выбрасывать его из-за того, что человек оказался мудаком, было бы расточительством.

— Она просто исчезла, — сказала мать. Голос срывался, но она держалась. Плакать она будет потом, в ванной, включив воду, чтобы соседи не слышали. Потом, когда уйдёт эта странная журналистка с глазами хищной птицы. — Камеры

показывают пустую улицу. Её телефон замолчал в три двенадцать ночи — просто перестал передавать сигнал, как будто выключился. Но она никогда не выключает телефон. Никогда. Я звонила — шли гудки, а потом раз, и абонент недоступен. Сыщики только руками разводят. Говорят, ушла сама. Сбежала. Подростки, говорят, такое делают.

Голос дрогнул на слове сбежала, и Софья поняла: мать ненавидит это слово. Ненавидит саму возможность того, что её дочь могла уйти добровольно. Ненавидит тишину в коридоре, где раньше стучали шаги. Ненавидит утро, когда не надо будить ребёнка в школу.

— Она не сбежала, — сказала Наталья Сергеевна. Тихо. Твёрдо. — Моя девочка не сбежала. Она ждала автобус. Она всегда ждала автобус, когда оставалась на ночные тренировки. Тренировки у неё по вторникам и четвергам, художественная гимнастика, она говорила, что Ритка, подруга, провожает её до остановки, но в тот вечер Ритка заболела, и она пошла одна. И автобус не пришёл. А она ждала.

Софья молчала. Она не перебивала. Она знала, что сейчас женщине нужно говорить. Нужно заполнить тишину словами, иначе тишина заполнится криком.

— Я звонила Ритке. Риткина мать сказала, что у неё тем-

пература, что она спала. Она ничего не знает. Я звонила классной руководительнице — она сказала, что Алиса была на тренировке, что видела её в раздевалке. Тренер сказал, что она ушла в четверть одиннадцатого. Четверть одиннадцатого, Софья. У неё было четыре часа, чтобы добраться до дома. Автобус идёт сорок минут. Что она делала четыре часа?

— Она ждала, — тихо сказала Софья.

— Чего?

— Не чего. Кого.

Наталья Сергеевна подняла глаза. В них мелькнуло что-то странное — не вопрос, а скорее согласие, будто она и сама знала ответ, но боялась произнести его вслух.

— Вы знаете что-то, — сказала она. Это не было вопросом. Это было утверждение — тихое, почти обвинительное. — Вы знаете что-то, чего не знает полиция. Вы знаете, что случилось с моей дочерью.

Софья закрыла блокнот. Провела пальцем по корешку — кожа была тёплой и гладкой, как человеческая кожа, нагретая солнцем. Она смотрела на фотографию, которую мать

положила на стол между ними. Золотые волосы, веснушки на носу, доверчивая улыбка. Девочка, которая умела свистеть в два пальца и боялась высоты.

— Я найду её, — сказала Софья.

И в голосе её было что-то, чего мать не поняла. Не просто надежда. Не просто обещание, какие дают журналисты, чтобы успокоить несчастную женщину и взять интервью для воскресного номера.

Клятва.

Софья перевела взгляд на свои руки. На запястье под широким кожаным браслетом — грубым, потёртым, с металлической заклёпкой, которая давно позеленела, — прятался старый шрам. Он был похож на след от укуса — два полукруга, два ряда точек, расположенных слишком ровно для случайной раны. Шрам был старым — больше десяти лет, — но иногда, перед дождём, он начинал ныть. И тогда Софья вспоминала.

Она помнила ту ночь. Помнила с той остротой, с какой помнят только первые секунды после автокатастрофы — когда ещё не понял, что случилось, но тело уже знает, что мир изменился навсегда.

3. Семнадцать лет назад. Ярославский вокзал. 2:40 ночи.

Девочка стояла в зале ожидания, и ей было восемь лет. Восемь лет, три месяца и двадцать один день. Её звали Соня Ковалёва — потом она сменит имя на Софью, потому что Соня звучало слишком по-детски, а детство кончилось в ту ночь.

Она ждала маму.

Мама ушла в туалет двадцать минут назад. Или час. Или три. Соня потеряла счёт времени, потому что большие часы над выходом на перрон показывали только 2:40, а поезд ушёл в 1:15, и она не знала, что часы стоят. Она знала, что мама сказала: Я сейчас вернусь, стой здесь, никуда не уходи, ни с кем не разговаривай.

Соня стояла. Она была послушной девочкой.

В зале ожидания было холодно — но не от погоды. От одиночества. Свет ламп дневного освещения делал лица людей серыми, как у мертвецов, и Соня старалась на них не смотреть. Она смотрела на свои коленки — на царапину, которую получила вчера, когда упала во дворе, на засохшую кровь, которая превратилась в коричневую корочку.

Она не заметила, когда рядом с ней сел мужчина.

Просто в какой-то момент она подняла глаза — а он уже был там. Сидел рядом, на той же скамейке, в двух шагах. Длинное пальто. Шляпа — не модная, а старая, из другого времени. Улыбка.

— Скучно ждать, правда? — сказал он.

Голос был добрым. Тёплым. Таким голосом бабушки читают сказки на ночь.

Соня кивнула. Она помнила, что мама сказала не разговаривать с незнакомцами. Но он сидел на той же скамейке, и если молчать — это невежливо. Мама учила её быть вежливой.

— Как тебя зовут?

— Соня.

— Красивое имя. София — мудрость. Ты знала?

Она не знала. Она покачала головой.

— Я провожу тебя до мамы, — сказал мужчина. — Она, наверное, потерялась. Вокзал большой, легко потеряться.

Соня посмотрела в его глаза. Глаза были необычными — не серыми и не голубыми, а словно пустыми, как небо перед грозой, когда все краски вытекают, оставляя только белый шум.

— Я никуда не уходи, — сказала она. Но голос дрогнул. Мама не вернулась. Мама, наверное, потерялась. А этот дядя такой добрый.

— Конечно, — сказал мужчина. — Мы только дойдём до мамы. Это близко. Ты хочешь найти маму, правда?

Соня кивнула. Она встала. Скамейка была холодной, ноги затекли, и она чуть не упала — мужчина подхватил её за локоть. Пальцы были холодными, как лёд. Как железо на морозе.

— Пойдём, — сказал он.

Они пошли.

Зал ожидания кончился, и они свернули в служебный коридор. Соня не помнила, чтобы там был коридор, но мужчи-

на уверенно вёл её, и лампы под потолком гасли за ними, как свечи, которые задувает невидимый ветер.

А потом он остановился. Повернулся к ней. Наклонился.

— Ты такая тёплая, — сказал он. И в голосе его впервые проступило что-то другое. Не доброта. Голод. — Такая сладкая...

Он коснулся её шеи. Пальцы — ледяные, но прикосновение было почти нежным. Как у стоматолога перед уколом: Потерпи, будет чуть-чуть больно.

Соня почувствовала, как мир начинает угасать. Как краски вытекают из реальности — сначала красный, потом синий, потом зелёный, остаётся только серый, серый, серый...

Она видела, как погас экран её телефона — маленького, кнопочного, Нокиа, которую мать купила ей на всякий случай. Телефон пискнул и умер.

Она видела лицо мужчины близко-близко. Улыбка. Глаза — теперь она видела, что они не пустые. Они чёрные. Чёрные до дна, до самого центра мира, где нет ни света, ни звука, ни времени.

И в этой черноте она увидела лица. Много лиц. Все, кого он взял до неё. Все, кого он возьмёт после.

А потом в коридоре вспыхнул серебряный свет.

Он был резким, как крик. Холодным, как зимняя вода. Свет резанул по глазам, и мужчина — нет, не мужчина, оно — отшатнулось, зашипев. Шипение было нечеловеческим — звук, который не должен проходить через человеческие голосовые связки. Звук трущихся друг о друга костей.

— Отойди от неё, — сказал голос. Старческий, хриплый, но твёрдый, как лезвие.

Соня увидела старика. Он стоял в конце коридора, и в руке у него был клинок — длинный, узкий, из серебра, которое светилось собственным светом. Он был одет в старое пальто, перепоясанное ремнём, и лицо у него было изрезано морщинами, как старая карта.

— Ты не имеешь права, — сказал старик. — Ты нарушил границу, тварь. Этот ребёнок не твой.

— Она сама пошла, — сказал голос. Мужчина в пальто выпрямился, и теперь Соня видела его истинное лицо — не маску доброго дяди, а то, что было под ней. Лицо как у ста-

туи, которой тысяча лет. Белая кожа, натянутая на череп, и глаза — два чёрных колодца. — Она сама согласилась. По закону—

— Нет твоего закона в этом городе, — перебил старик. — Не сегодня. Не с этим ребёнком.

Они стояли друг напротив друга в узком коридоре, и воздух между ними дрожал от напряжения. Соня сжалась на полу, закрыв голову руками. Она слышала, как стучат её зубы, и не могла остановиться.

А потом случилось то, чего она не поняла. Старик двинулся вперёд — и коридор сломался. Пространство сложилось гармошкой, реальность пошла трещинами, и Соня увидела, как серебряный клинок описал дугу, и как чёрная кровь брызнула на стены — и испарилась, не долетев до пола.

Она не помнила, как выбралась из коридора. Не помнила, как оказалась на улице, под дождём. Помнила только руки старика — сухие, тёплые, пахнущие табаком и мятой, — которые подняли её с земли.

— Ты в безопасности, — сказал он. — Ты в безопасности, девочка. Больше он тебя не тронет.

— Кто... — прошептала она. — Кто вы?

— Меня зовут Иван Петрович, — сказал старик. И улыбнулся — устало, с какой-то странной грустью. — Я охотник. Мы охотимся на то, что охотится на вас.

— На... на него?

— Да. На таких, как он. На ночных. На вечных. Ты запомнила его лицо, Соня?

Она кивнула. Она запомнила. Она запомнила навсегда, до самого дна своей памяти, до конца своей жизни.

— Хорошо, — сказал старик. — Потому что он запомнит тебя. И однажды, когда я умру — а я умру скоро, я слишком стар для этого дела, — он вернётся. И тогда тебе придётся выбирать.

— Выбирать что?

— Бежать или сражаться.

Капли дождя стекали по её лицу, смешиваясь со слезами, которых она не замечала. Она смотрела на старика, на его серебряный клинок, на кровь на его пальто — и чувствовала

ла, как внутри неё что-то меняется. Как мир перестаёт быть безопасным. Как завеса между обычным и тем, что под ним, становится тоньше, прозрачнее, почти невесомой.

— Я не хочу бежать, — сказала она.

Старик посмотрел на неё долгим взглядом. И в глазах его, выцветших от возраста, она увидела то, что поняла только много лет спустя: узнавание.

— Я знал, — сказал он тихо. — Я знал, что ты скажешь именно это.

4. Редакция Московских вестей. Сейчас.

Софья моргнула, возвращаясь в настоящее.

Мать Алисы всё ещё сидела напротив, всё ещё комкала платок. Вентилятор под потолком мерно жужжал, разгоняя спёртый воздух. За окном проехала машина скорой помощи — вой сирены на секунду заглушил все остальные звуки, а потом стих, растворился в городском шуме.

— Я позвоню вам завтра, — сказала Софья. Голос был ровным, спокойным — голос профессионала, который знает своё дело. — Мне нужно изучить материалы. Поговорить с

людьми. Проверить несколько... версий.

— Каких версий? — спросила мать. В голосе её звучала жадная, отчаянная надежда.

— Пока не могу сказать, — Софья убрала блокнот в сумку — старую, кожаную, с потёртостями на углах. — Не хочу давать ложных обещаний. Но я позвоню. Завтра к вечеру.

Она встала. Протянула руку. Мать пожала её — ладонь у женщины была холодной и влажной, как у всех, кто долго держал в руках лёд, боясь, что он растает и оставит только воду.

— Спасибо, — сказала Наталья Сергеевна. — Спасибо, что согласились... что хотя бы послушали. Другие даже не слушали.

— Я слушаю, — сказала Софья. — Я слышу.

Слишком хорошо слышу, — подумала она, выходя из редакции.

На улице моросил дождь. Мелкий, октябрьский, противный. Софья подняла воротник плаща и зашагала в сторону метро. Китай-город был в десяти минутах, но она не дошла.

Остановилась у витрины круглосуточного магазина, глядя на своё отражение в стекле.

Молодая женщина с янтарными глазами смотрела на неё из-за рядов с чипсами и газировкой. Капли дождя стекали по стеклу, искажая черты. На секунду Софье показалось, что за её отражением стоит кто-то ещё — тень в длинном пальто, с улыбкой, слишком широкой для человеческого лица.

Она обернулась.

Никого. Только мокрый асфальт, жёлтый свет фонарей и дождь, дождь, дождь, который не кончается уже третью неделю.

Софья достала телефон. Нашла в контактах номер — без имени, только# цифр. Нажала вызов.

— Алло? — ответил голос после третьего гудка. Хриплый, прокуренный, старый.

— Иван Петрович, — сказала Софья. — Это я.

Пауза. Длинная. Тяжёлая.

— Я знаю, кто это, — сказал старик наконец. — Ты бы не

звонила просто так. Что случилось?

— Девочка пропала. Четырнадцать лет. Красные Ворота, три ночи назад.

Ещё одна пауза. На том конце провода скрипнуло кресло — или это кости старика скрипнули, когда он сел.

— Почерк?

— Его, — сказала Софья. — Я почти уверена.

— Почти, — повторил старик. — Почти — это недостаточно, Соня. Ты знаешь. Они умеют подделывать почерк.

— Я знаю. Поэтому я позвоню, когда буду уверена.

— Будь осторожна, — сказал старик. И в голосе его, впервые за много лет, ей послышался страх. — Он старше нас. Он старше всего, что мы знаем. И он помнит тебя, Соня. Он всегда помнил.

— Я тоже его помню, — сказала Софья. — Я каждую ночь его помню.

Она нажала отбой и убрала телефон в карман. Дождь уси-

лился. Вода стекала по лицу, по шее, под воротник. Софья подняла глаза к небу — серому, низкому, тяжёлому, как свинцовая плита.

Я найду её раньше, — подумала она. — Я должна. Потому что, если я её не найду — он вернётся за мной. Он всегда возвращается.

Она сунула руки в карманы и пошла в метро. За спиной у неё, в мокром асфальте, на секунду мелькнуло отражение — женская фигура, сопровождаемая тенью, которая была длиннее, чем положено.

Но когда Софья обернулась — там была только пустая улица.

5. Алиса. 3:17 ночи. Красные Ворота. Время не имеет значения.

Девочка идёт по улице. Свет фонарей дробится в её волосах на золотые осколки. Мужчина в пальто идёт рядом — на полшага позади, вежливо, почтительно.

Она не знает, что её уже нет. Что она стала тенью, переходящей из одного мира в другой. Что мир, в который она входит, не имеет солнца, но имеет много теней — и все они

ГОЛОДНЫ.

Она не знает, что через три дня её мать будет сидеть в редакции Московских вестей и комкать платок перед женщиной с янтарными глазами.

Она не знает, что эта женщина уже идёт по её следу.

Алиса просто идёт вперёд, потому что ей холодно и хочется домой, и этот добрый дядя обещал проводить.

— Скоро придём, — говорит он. Голос мягкий, как бархат, которым обивают гробы. — Ещё немного.

И она верит.

Потому что они всегда верят.

Глава 2. Улыбка главного редактора

1. Редакция Московских вестей. 10:23 утра.

Галина не узнавала своего начальника.

Она проработала в Московских вестях девятнадцать лет — пришла двадцатидвухлетней практиканткой, которую ни-

кто не замечал, и осталась, потому что умела становиться невидимой. За эти девятнадцать лет она видела Олега Петровича Пановского в ярости (когда типография напечатала тираж с перевёрнутой фотографией мэра), в горе (когда умерла его мать), в растерянности (когда суд закрыл их публикацию о коррупции в стройкомплексе) и в эйфории (когда ту же публикацию разблокировали, а мэр подал в отставку). Она видела его уставшим после ночных смен, больным, с температурой под сорок, когда он диктовал материал по телефону, лёжа на диване в кабинете. Видела его заспанным, когда он ночевал в редакции после аврала, и похмельным, когда они отмечали очередную годовщину газеты.

Но она никогда не видела его певучим.

Олег Петрович Пановский — человек, которого подчинённые за глаза называли Сфинкс за полную неподвижность лица, — сейчас напевал. Мелодия была старой, довоенной, что-то из репертуара Вертинского: Я сегодня смеюсь над удачей, надо мною — синева... Он напевал тихо, почти беззвучно, но Галина слышала, потому что слышала всё, что происходило в этом кабинете. В этом была её работа — слышать то, что не предназначено для её ушей.

Он улыбался.

Это выглядело настолько же естественно, как если бы у айсберга выросла пальма. Как если бы каменная статуя в парке подмигнула прохожему. Улыбка не шла его лицу — она была на нём чужеродным элементом, трансплантатом, который тело отторгало, но вынуждено было терпеть.

Он закрыл дверь кабинета — ключ повернулся в замке с мягким щелчком, который Галина слышала сотни раз, но сейчас он прозвучал иначе. Окончательно. Щелчок захлопнувшейся мышеловки. Жалюзи были опущены, хотя утро только начиналось — за окном октябрьское солнце пробивалось сквозь тучи, и Галина знала, что Пановский ненавидит опускать жалюзи, потому что его кабинет и так похож на склеп, как он сам шутил.

— Галина, — сказал он. Голос его звучал иначе. Не Сфинкс — сухой, лаконичный, рубленый, — а глубже, с лёгкой хрипотцой, которая делала его моложе. Почти бархатистый. — Мне нужна твоя помощь.

Она села напротив. Кресло было старым, кожаным — таким кожаным, что кожа давно превратилась в подобие коры, потрескавшейся и твёрдой. Она села ровно, как учили, спина прямая, руки на коленях. Внешне — идеальный подчинённый. Внутри — тишина. Та особая тишина, в которую она уходила, когда слушала не слова, а то, что между слов.

Стол между ними был завален бумагами. Обычный беспорядок, который Пановский называл организованным хаосом: ворох распечаток, старые номера газет, чашка с остывшим кофе, на поверхности которого уже образовалась радужная плёнка. Но среди этого хаоса Галина заметила структуру. Все бумаги касались одной темы — она видела заголовки, края страниц, фотографии. Пропавшие люди. Район Красных Ворот. Четырнадцать случаев за два месяца.

Четырнадцать. Она знала, что вчера стало пятнадцать — девочка, четырнадцать лет, Алиса Ветрова. Галина прочитала заявление матери в утренней сводке. Ей стало нехорошо, как всегда, становится, когда исчезает ребёнок, и она выпила чаю с мятой, чтобы успокоиться.

— Что случилось, Олег Петрович? — спросила она. Голос — ровный, без интонаций. Ни любопытства, ни тревоги. Профессиональная пустота.

Он не ответил сразу. Встал — тяжело, опираясь на стол, хотя Галина знала, что у него нет проблем с позвоночником. Подошёл к окну, отёрнул жалюзи с той резкостью, с какой отдёргивают бинт от раны.

За окном текла Москва. Садовое кольцо в десять утра —

это медленная река машин, которая дышит, втягивая и выпуская воздух через выхлопные трубы. Люди шли по тротуару, согнувшись под тяжестью своих дел, своих забот, своих судеб. Никто не поднимал головы. Никто не смотрел на небо.

Олег Петрович смотрел на них сверху, и в его глазах было что-то странное. Не презрение — скорее, голодная нежность.

— У нас есть журналист, — сказал он, не оборачиваясь. — Софья Ковалёва. Она пишет о пропавших людях.

— Я знаю Софью, — сказала Галина. — Хороший репортёр.

Она знала Софью. Знала её по публикациям — острым, точным, с той особенной интонацией, когда автор не просто сообщает факты, а дышит материалом. Знала её по коридорам редакции — высокая, худая, всегда в чёрном, с вечным карандашом за ухом. Знала её по запаху — странному, тревожному запаху, от которого у Галины слегка кружилась голова, когда они оказывались рядом в лифте. Запах озона, старой меди и.. чего-то живого. Слишком живого.

— Слишком хороший, — сказал Пановский. — Она привлекает внимание. Нежелательное.

Он произнёс это так, будто читал сводку погоды. Завтра ожидается дождь, местами — нежелательное внимание. Будто это было естественным явлением природы.

Галина ждала. Она знала этот танец — начальник всегда делает паузу перед тем, как сказать то, о чём потом все будут молчать. Она видела этот танец десятки раз, в разных кабинетах, с разными людьми. Пауза — это момент, когда воздух в комнате становится тягучим, как мёд. Когда от решения, которое будет произнесено, зависит чья-то жизнь, и все присутствующие это знают, но никто не говорит вслух.

Олег Петрович повернулся от окна. Солнце ударило в его лицо сбоку, и Галина вдруг заметила то, чего не замечала раньше. За девятнадцать лет — не замечала.

Его кожа была слишком гладкой для пятидесяти лет.

Нет, не просто гладкой — безупречной. Ни морщины вокруг глаз, хотя он не носил очков и много читал. Ни пор на носу, хотя он пил чёрный кофе литрами и курил, пока врач не запретил. Ни щетины на подбородке, хотя сейчас было утро, а он брился всегда вечером, потому что утром у него не было времени. Кожа была как у младенца — или как у восковой фигуры, вылепленной скульптором, который никогда

не видел живого человека.

И глаза.

В них было что-то тёмное. Не цвет — цвет оставался серо-голубым, как всегда. А глубина. Такая глубина, что Галина показалось на миг, будто она смотрит в колодец, в котором нет дна. И со дна этого колодца на неё смотрят в ответ.

— Князь Виктор просил меня попросить тебя убрать эту проблему, — сказал он. Голос упал на полслова ниже, и в нём звякнула металлическая нотка.

— Князь Виктор? — переспросила Галина. Фамилия была ей знакома. Виктор Оболенский. Меценат, политик, владелец половины недвижимости в центре Москвы. Его портреты висели в ресторанах — обязательно в рамках, обязательно в парадных костюмах; его имя встречалось в светских хрониках каждую неделю; его благотворительные фонды спонсировали больницы, театры и приюты для бездомных животных. Человек-бренд. Человек-институция.

Но она никогда не слышала, чтобы Олег Петрович называл его князь. Они были знакомы — да, Оболенский несколько раз спонсировал редакционные проекты, даже приезжал на юбилей газеты три года назад. Галина помнила

его: высокий, седой, с безупречной осанкой, говорил тихо, но так, что его слышали в самом дальнем углу переполненного зала. Она помнила его глаза — такие же странные, как у Пановского сейчас. Тёмные. Глубокие. Старые.

— Он старый друг редакции. — Олег Петрович улыбнулся — той новой, странной улыбкой, которая не вязалась с его лицом. В улыбке мелькнуло что-то острое. Не зубы — зубы у него были обычными, ровными, с пломбой на верхнем левом клыке. Что-то за зубами. Какая-то тень, промелькнувшая в глубине рта. — И старый... знакомый мой. — Он сделал паузу, и в этой паузе поместилась вечность. — Смотри, как ты это сделаешь, но она должна прекратить писать.

Галина кивнула.

Кивнула так, как кивала уже много лет — с тех пор, как её, ещё молодую сотрудницу архива, впервые позвали в кабинет старшего редактора и сказали: Поговори с ним. Он мешает. Сделай так, чтобы он перестал.

Она не знала, почему выбрали её. Может быть, из-за голоса — тихого, ровного, похожего на шум дождя. Может быть, из-за глаз — спокойных, невыразительных, лишённых осуждения. Может быть, из-за того, что она умела слушать, и люди рассказывали ей всё — всё, до самой тёмной глубины — а

потом не помнили, что говорили. Будто слова, произнесённые в её присутствии, растворялись в воздухе, не оставляя следа.

Она была хороша. Она могла смотреть в глаза, говорить тихо, и люди забывали. Забывали, зачем пришли. Забывали, что видели. Забывали, кого любят. Их лица становились пустыми, как листы бумаги, и она могла написать на них что угодно.

Она была инструментом. Тонким, точным, незаметным. Скальпелем, которым пользуются один раз и выбрасывают — но её не выбрасывали, потому что она была слишком ценным активом.

И она никогда не спрашивала, для чего. Никогда.

До сегодняшнего дня.

2. Галина. Девятнадцать лет назад. Архив Московских вестей.

Она сидела в подвале, и пахло там сыростью и старой бумагой. Запах, который въедается в лёгкие и остаётся там навсегда, даже если выйти на свежий воздух. Воздух в архиве не менялся десятилетиями — те же молекулы пыли, те же

споры плесени, те же частички человеческой кожи, осыпавшиеся с рук, перебиравших подшивки за сорок лет.

Галине было двадцать два. Она пришла в газету три месяца назад — по распределению, с красным дипломом факультета журналистики МГУ, где она писала курсовые о теории жанров и мечтала о репортажах из горячих точек. Вместо горячих точек её отправили в архив — разбирать старые номера за девяностые, оцифровывать их в программу, которую никто не устанавливал до неё, и пить чай из старой кружки с трещиной, похожей на карту Африки.

Она ненавидела свою работу.

Но она была благодарна за неё — потому что в архиве было тихо, никто не мешал, и она могла читать. Она читала всё. Криминальную хронику. Светские сплетни. Экономические обзоры. Некрологи. И чем больше она читала, тем яснее понимала: газета врёт.

Не грубо, не топорно. Тонко. Между строк. Паузами, умолчаниями, словами, которых не было на странице, но которые подразумевались. Она видела, как одни фамилии исчезали из публикаций, а другие — появлялись на пустом месте. Как несчастные случаи убирали людей, которые слишком много знали. Как по семейным обстоятельствам на са-

мом деле означало мы не можем сказать правду, потому что правда убьёт тираж — или нас.

Она никому не говорила о том, что заметила. Иногда знание — это груз, который можно нести только в одиночку.

В тот день она разбирала подшивку за 1997 год. Сентябрь. Жёлтые страницы, ломкие, с нечитаемым шрифтом. Она ли- стала медленно, потому что знала: когда она закончит, ей да- дут другую, такую же бессмысленную работу. Она не торо- пилась.

И наткнулась на заметку.

Она была крошечной — три абзаца на двенадцатой поло- се, рядом с рекламой стоматологической клиники. Загадоч- ное происшествие на Ярославском вокзале. Сообщалось, что ночью в служебном коридоре вокзала был найден мужчина без признаков жизни, с множественными ранами, которые не поддаются описанию в печати. Рядом с ним нашли малень- кую девочку, которая не могла говорить — она потеряла го- лос от шока.

Девочку звали Софья Ковалёва. Ей было восемь лет.

Галина перечитала заметку три раза. Потом отложила под-

шивку, вышла из архива, поднялась на первый этаж и поступалась в кабинет главного редактора.

Кабинет тогда занимал Анатолий Борисович Серебряков — старый, сутулый, с одышкой и добрыми глазами. Он умер через год — остановка сердца, как написали в некрологе. Галина до сих пор не была уверена, что это была правда.

— Анатолий Борисович, — сказала она, — я хочу писать заметки. Не в архиве сидеть. Писать.

Он посмотрел на неё поверх очков — глаза у него были выцветшие, почти бесцветные, как у всех, кто долго смотрит на бумагу.

— Сядь, — сказал он.

Она села.

— Ты читала ту заметку. Про вокзал. — Это не было вопросом. — Я знаю, что читала. Ты всё читаешь. Ты думаешь, я не замечаю, но я замечаю.

Галина молчала.

— Тебе интересно, что там случилось на самом деле, —

продолжал старик. — Тебе интересно, почему мы написали только три абзаца. Тебе интересно, куда делась та девочка, и почему о ней больше не писали в новостях.

Она кивнула.

— Я расскажу тебе одну вещь, Галина. Одну вещь, которую ты никогда не должна никому повторять. — Он наклонился вперёд, и его голос упал до шёпота. — Ты думаешь, что мир — это то, что ты видишь вокруг. Улицы, дома, люди, машины. Всё обычное, всё понятное. Но под этим миром, в трещинах между реальностью и сном, живут другие. Они всегда были здесь. Они старше нас. Они сильнее нас. И они голодны.

— О чём вы? — спросила Галина. Голос дрожал, хотя она пыталась его контролировать.

— О том, что ты увидишь, если будешь слишком долго смотреть в темноту. — Серебряков откинулся на спинку кресла. — Ты думаешь, что заметка о пропавшей девочке — это случайность. Ты думаешь, я сумасшедший старик, который выжил из ума. Может быть. А может быть, я единственный, кто говорит тебе правду.

— Какую правду?

— Что у тебя есть талант. Ты можешь заставлять людей забывать. Ты можешь делать их тихими, покладистыми, послушными. Ты можешь стирать им память. — Он улыбнулся — грустно, почти сочувственно. — Ты думала, это просто умение слушать? Нет, Галина. Это дар. Или проклятие. Ещё не знаю, что именно.

Она хотела встать и уйти. Хотела сказать, что он сумасшедший. Хотела забыть этот разговор и вернуться в свой пыльный архив, где мир был простым и понятным — старые газеты, выцветшие чернила, ничего сверхъестественного.

Но она осталась.

— Что мне делать? — спросила она.

Серебряков посмотрел на неё долгим взглядом. В глазах его, выцветших до белизны, она увидела что-то странное — облегчение. Будто он ждал этого вопроса много лет.

— Придёт время, и тебя позовут, — сказал он. — И ты сделаешь то, что нужно. Потому что иначе они придут за тобой. Они всегда приходят за теми, кто знает.

3. Редакция Московских вестей. 10:38 утра. Настоящее

время.

— Я сделаю, — сказала Галина.

Голос был ровным, как лезвие. Спокойным, как вода в пруду, под поверхностью которой что-то движется — большое, тёмное, голодное.

Олег Петрович улыбнулся. Улыбка была всё той же — чужеродной, слишком широкой для его худого лица. На миг Галине показалось, что улыбка не принадлежит ему, что она просто наложена на его лицо, как маска, которую кто-то держит перед ним.

— Я знал, что ты поймёшь, — сказал он.

Он сел обратно в кресло. Кожа скрипнула под его весом — или это скрипнули его кости? Галина не была уверена. Она смотрела, как он берёт чашку с остывшим кофе, подносит к губам, делает глоток. Кофе был холодным уже часа два — она знала, потому что сама наливала его утром, и он стоял нетронутым. Но Пановский пил его, не морщась, не замечая вкуса.

— Расскажи мне, — сказала она. — Расскажи, кто такой князь Виктор. Настоящий. Не тот, кого вы показываете в но-

ВОСТЯХ.

Пановский поставил чашку. Посмотрел на неё. Долго. Очень долго.

— Ты хочешь знать?

— Я хочу знать, с кем я работаю.

Он кивнул — медленно, будто принимая решение, от которого зависела его жизнь. Или её.

— Князь Виктор Оболенский — не человек, — сказал он. Голос стал тише, и в нём появилась та металлическая нотка, которой не было раньше. — Он был человеком. Триста лет назад. Может быть, четыреста. Я не знаю точно — он не говорит о своём прошлом, а я не спрашиваю.

— Что значит был?

— Он перешёл. Его укусили, и он не умер. Он стал одним из вечных. Так мы их называем. Вечные.

— Вечные...

— Ты слышала, что о них говорят в сказках. Про вампи-

ров, про кровопийц, про ночных тварей. Всё это правда — и одновременно неправда. Они не горят на солнце — солнце просто делает их слабее, медленнее. Они не боятся распятий — кресты работают только если в них верят, а в наше время никто не верит. Они не обращаются в летучих мышей — это глупость, выдумка кинематографистов. Но они пьют кровь. Да. Это правда. Чистая, биологическая необходимость. Им нужна жизнь, которую они могут взять. Без неё они высыхают, превращаются в пыль. В прямом смысле.

Галина молчала. Она слушала. Внутри неё — там, где обычно было пусто и спокойно, — поднималось что-то тёмное. Не страх. Узнавание.

— И ты работаешь на него, — сказала она. — На вечного.

— Я работаю с ним, — поправил Пановский. — Есть разница. Он не пьёт мою кровь — я ему нужен живым и здоровым. Я его глаза и уши в мире людей. Я его инструмент, как ты — мой.

— А Софья Ковалёва?

— Она охотница. — Он произнёс это слово с уважением — или с опаской, Галина не поняла. — Их мало осталось. Тех, кто видит, кто помнит, кто умеет сражаться. Она одна

из них. Ученица Ивана Петровича — если тебе говорит что-то это имя.

Галина покачала головой.

— Старый охотник. Последний из старой гвардии. Он убил много вечных в своё время. И он воспитал её. Она опасна, потому что она не просто знает — она видит. Она может отличить вечного от человека по запаху, по движению, по отражению. И она охотится на них. А теперь она заинтересовалась пропажами. А пропажи — это князь Виктор.

— Он берёт людей? — спросила Галина. — Детей?

Пановский не ответил. Он смотрел куда-то в сторону, на стену, где висела старая фотография редакции — чёрно-белая, снятая в шестидесятых. Люди в пиджаках и галстуках, с папиросами в зубах и печатными машинками на столах. Мир, которого больше нет.

— Он берёт то, что ему нужно, — сказал он наконец. — Как и все мы.

Галина встала. Ноги слушались её, хотя внутри всё дрожало. Она подошла к двери, остановилась, положила руку на холодную металлическую ручку.

— Я поговорю с Софьей Ковалёвой, — сказала она, не оборачиваясь. — Я сделаю так, чтобы она прекратила писать. Но я делаю это не для тебя, Олег Петрович, и не для твоего князя.

— Для кого же?

— Для себя. Чтобы понять.

Она открыла дверь и вышла. В коридоре было светло — дневной свет пробивался сквозь большие окна, падал на вытертый линолеум, на стены, оклеенные старыми газетами под стеклом. Люди ходили, разговаривали, смеялись. Обычные люди с обычными жизнями. Они ничего не знали.

Галина посмотрела на свои руки. Обычные руки, с коротко стриженными ногтями, без колец, с синими венами под бледной кожей. Руки, которыми она стирала память.

Ты думала, это просто умение слушать?

Нет. Она больше так не думала.

4. Подвал архива. Двадцать лет назад. Ночное воспоминание.

Галина просыпается от холода.

Она лежит на раскладушке в архиве — она осталась ночевать, потому что поезд в область ушёл, а денег на гостиницу нет. Студентка, практика, нищенская стипендия. Архив пахнет бумагой и тишиной.

Она просыпается от холода, потому что в подвале всегда холодно, даже летом. Но это не тот холод.

Она открывает глаза.

В темноте, в двух шагах от неё, стоит кто-то. Человек? Силуэт — мужской, высокий, в длинном пальто. Она не видит лица — только контур, только тень, только два огонька там, где должны быть глаза.

— Ты слышишь меня? — спрашивает голос. Не вслух. Внутри её головы.

Она хочет закричать — и не может. Ни звука. Ни движения. Тело не слушается, как во сне, когда бежишь от опасности и не можешь сдвинуться с места.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.